

— Василий, просыпайтесь!

Василий Петрович Потапов открыл глаза. Перед ним стояла медсестра Катя с мензуркой в руке.

— С днем рождения. — Она улыбнулась и протянула лекарство.

Он с трудом приподнял голову, взял мензурку и опрокинул в себя желтую жидкость. Василий уже знал, что ему ампутировали ногу, и знал, что операция прошла успешно. Его оперировал военный хирург Сергей Яковлевич Маслюков, и это он возвышался рядом с Катей.

Выражение лица Василия не изменилось. Его руки были вытянуты вдоль исхудавшего тела, пальцами правой руки он без остановки перебирал кусок простыни, зажатой в кулаке.

Он ничего не сказал и даже не взглянул в сторону врача. Он опять закрыл глаза и начал проваливаться в сон. «Нога», которой уже не было, болела, но сегодня утром — терпимо. Про себя он по-прежнему называл забинтованную культю «ногой».

— Поздравляем, Василий, — приветливо пробасил Маслюков, — тебе сегодня стукнуло 19 лет.

— А зачем они мне? — почти неслышно спросил Потапов с закрытыми глазами.

Маслюков послал незаметный взгляд сестре, и они вышли из помещения, называемого послеоперационной палатой. Здесь, на соседних свежесколоченных столах, лежали другие раненые также с ампутированными конечностями.

Слышались стоны новых инвалидов, две другие медсестры как могли пытались уменьшить их страдания. У Маслюкова больше не было места для прибывающих нескончаемым потоком раненых, но он старался не думать о нехватке мест, медикаментов и персонала. Берег себя и людей для круглосуточной, непомерной работы. Многие раненые умирали, столы освобождались, на них клали новых, истекающих кровью солдат. Маслюков ненавидел смерть, слишком много перевидал в течение войны, и боролся за жизни молодых бойцов до их последнего вздоха. Потапова он также вырвал из рук смерти, стабилизировал после тяжелой и длительной операции, а самое главное,

им удалось как следует стерилизовать рану и избежать инфекции, что было очень непросто в условиях полевого госпиталя.

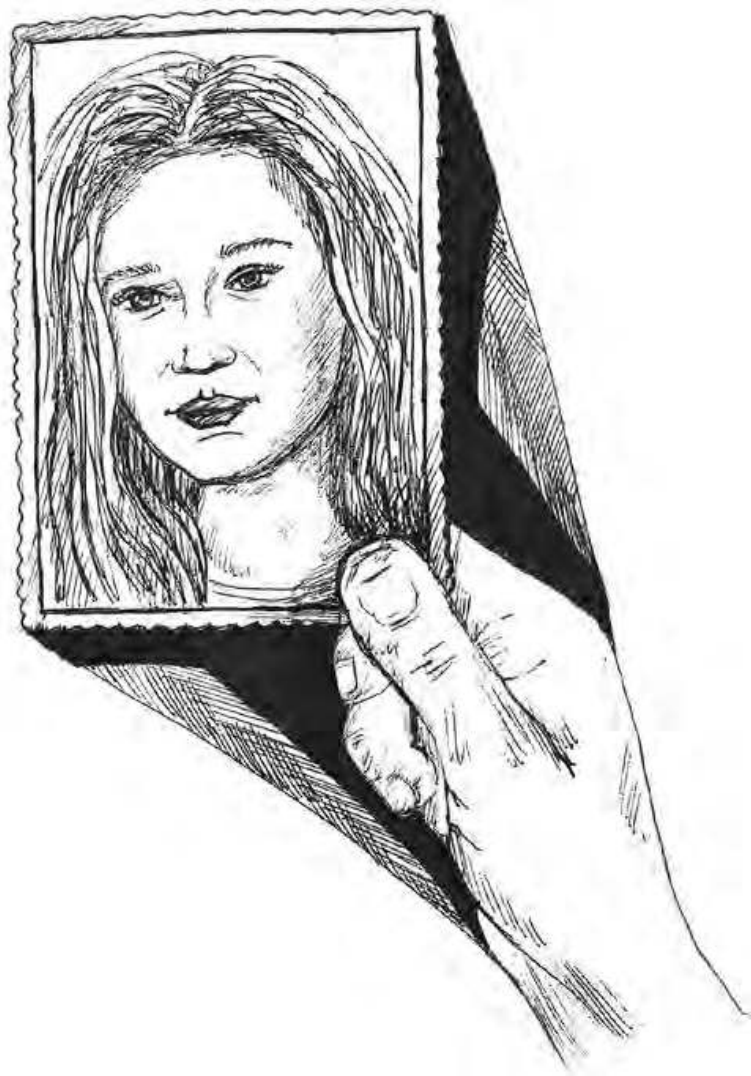
Но доктора беспокоило мрачное душевное состояние Потапова. Молодой лейтенант не хотел жить, бредил по ночам, всхлипывал во сне, просил кого-то простить и забыть его. Иногда на рассвете Потапов просыпался и лежал без движения, уставившись голубыми глазами в одну точку. Издалека его можно было принять за труп, хотя организм его был молодым и живучим, и его крепкое сердце билось яростно и громко, радуясь жизни, как бы обещая скорое выздоровление.

Потапов был призван в действующую армию в начале августа 1944 года. В середине месяца находился в учебном артполке, по истечении срока был переведен в действующую армию, в дивизию пушечно-артиллерийской бригады.

В октябре 1944-го он уже был в Литве на подступах к Восточной Пруссии.

Вскоре их отправили на передовую, началась тяжелая битва за Кенигсберг.

Там они пролежали в окопах всю ночь, с утра их начали обстреливать из минометов. Потапова послали в переднюю цепь, к пехоте. Он выкопал окоп, влез в него, а винтовку оставил на бруствере. Несколько минут стояло затишье. В окопе из нагрудного кармана гимнастерки он достал фотографию Нины. Карие, глубокие глаза Нины сохранились лучше всего на истертой, замызганной от грязи и пота, фотографии. Он прижался губами к ее глазам.



— Такие дела, Нинок, — сказал Потапов, бережно убирая фото в карман гимнастерки. — Буду стараться вернуться, как обещал, хотя тут от меня мало чего зависит.

Он в который раз вспомнил их последнюю, перед отправкой на фронт, встречу. Они забрели в тихий перелесок и там на солнечной полянке, в дубовой рощице и состоялось их свидание.

— Ты меня, не забывай, Васенька, попросила Нина, — хоть там как что... а не забывай.

— Не забуду, с войны вернусь, из Бабешкиной Потаповой станешь, можешь себя так и называть — Нина Потапова.

Она обещала ждать, а он обещал вернуться. Воспоминания не покидали его ни на минуту, образ Нины стоял перед глазами, как будто она была рядом, здесь, на передовой: маленькая, похожая на школьницу, светловолосая, худенькая девушка. Ее карие глаза смотрят на него не отрываясь, в них он читает

ее и его первую, настоящую любовь.

Раздались оглушающие нещадные взрывы. Одна из мин разорвалась прямо на бруствере, на него обрушился вихрь осколков. Перед глазами померкло, он почувствовал, как что-то острое и адски горячее вонзилось в ногу, но мрак опустился на него быстрее, чем сокрушающая, все поглощающая боль.

Утром, обходя трупы, санитар-носильщик обнаружил окровавленное тело, в котором еще билось сердце. Умирающего солдата без промедления доставили в госпиталь. Там он пробыл до конца войны, там же и научился ходить с костылем и ухаживать за медленно, но заживающей культей. Хотя война закончилась, в госпиталь все еще прибывали раненые, многие умирали, и благодаря смертям этих бойцов, их — поправляющихся, не выписывали досрочно, а оставляли на продолжительное лечение.

В октябре 1945 года Кенигсберг был включен в состав СССР, Потапова комиссовали из армии, и он с заплечным мешком и костылями стоял на перроне кое-как восстановленной железной дороги, ожидая свой поезд. Перед выпиской ребята устроили ему проводы и даже угостили настоящим спиртом, но спирт не пошел.

На следующее утро Василий чувствовал себя еще хуже: трещала голова, безумно болела культя, на душе было омерзительно горько и от чего-то стыдно.

«Лучше б умер», — повторял он про себя, не радуясь ни голубому мирному небу, ни пожелтевшей травке, с трудом

пробившейся через обгоревшую землю.

Василий решил прекратить свое существование, сразу же как обнаружил вместо правой ноги что-то деформированное, постоянно ноющее от боли, огромное и странное и совсем не его: то, что называлось культей. Он не мог понять, какое он имел к ней, к этой самой культе, отношение. До него еще в госпитале стали доходить слухи о том, как местные послевоенные власти обращались с инвалидами войны, когда они возвращались домой: ни кола, ни двора, ни работы, диспансеры для инвалидов — за сотни километров от населенных пунктов.

Когда он начал терапию, учился ходить на костылях и перевязывать культю, решение покончить жизнь самоубийством еще более в нем укрепилось. И хотя с ним часто беседовал хирург и медсестра Катя, и хотя он кивком головы молча соглашался с их советами: радоваться жизни, строить планы на будущее, война-то закончилась, — в глубине души он принял твердое решение: жить одноногим инвалидом не будет. Он ждал подходящего момента, чтобы «выйти из боя победителем, а не побежденным», так он сам себе объяснял свое решение.

И еще: он решил съездить к себе, в родной поселок, навестить фабрику, где работала покойная мать, или то, что осталось от фабрики, и, если повезет, посмотреть на Нину, но так, чтоб она его, одноногого, не заметила. Возможно, она уже и не Бабешкина, а чья-то другая, а может, ее вообще нет в живых, или она снялась и куда-то перееха-

ла, а колесить по развороченной войной России без копейки денег, на одной ноге в поисках Нины не представлялось возможным. Он был готов к тому, что не найдет ее, свою любимую, и от этого ему становилось, как ни странно, легче: без Нины его навсегда изуродованная жизнь теряла смысл, облегчая исход.

В невеселых мыслях он продолжал путешествие, сидя у окна набитого битком вагона. Место ему уступила какая-то сумасшедшая бабка, которая беззвучно плакала, крестилась и не переставая причитала.

— Вот тебе-то как повезло, вишь, хоть с одной ногой, а живой, — бормотала она, подкладывая под его вытянутую культю грязный, повывавший виды мешок. — Снедь у меня там, в мешке-то, может, все-таки Степу найду, может, они там с похоронками-то перепутали, и Ваню найдут, и Гришу, и Тимофея Ивановича моего, а чо ж не найти? Мы с ним жили да поживали, пока война не пришла, сыновей троих народили, а теперь вот они мне похоронки-то на всех и прислали.

Она достала тряпицу, и развернув ее, вытянула на свет четыре похоронки.

— Перепутали, черти, ясно дело. У них там дым коромыслом, людей не хватает, вот и напутали. Всех-то моих убить не могли! Хоть один, вот как ты, такой же молодой, младшенький, живой наверняка, где-то в госпитале там у них и отлеживается, вот как найду, так и покормлю его, я ему тут все и собрала. Собираю уж сколько месяцев. Даже мыла кусок выме-

няла на кольцо — Тимофей Иванович подарил. А может, и сам Тимофей Иванович там с ним... с ними. Ктой-то они такие мне писать, что всех моих поубивали? Разбежались... шустрые какие...

В паузах она крестилась, чмокала губами, вздыхала и снова начинала все с начала. Соседи, плотно сидевшие рядом, игнорировали ее бормотание, кто-то дремал, кто-то просто молча глазел в окно на проносившийся мимо кошмарный пейзаж военной разрухи, погрузившись в свои мысли, в свое горе. Залатанный поржавевшими листами железа поезд нещадно трясло, и по временам казалось, что их занесет, вагоны сойдут с рельс и они просто полетят под откос, хотя продвигались они довольно медленно, не то что до войны, с ветерком в открытых окнах, с толпами шумных пионеров в белых рубашках и красных галстуках.

«Широка страна моя родная...» — вспомнил Василий голоса пионерских дружин.

До войны Василий несколько раз ездил в город с матерью. Ездили на толкучку, за ботинками к школе, в гости к материным знакомым, а в последний раз в больницу, когда мать приболела. Та поездка оказалась последней: мать вскоре умерла.

Отца он к тому времени помнил слабо. Помнил только, как за ним приехали ночью, как выла Польшка, их собака, помнил выстрел и утром мать в слезах.

Убитую Польшку с кровавой дыркой вместо глаза он зарыл на участке, позади избы. Через год пришли бумаги, и мать трясущимися руками читала

письмо. «Отца твоего не стало, Васенька...» Глаза ее оставались сухими, а ночью он проснулся от ее рыданий.

Потом они с матерью куда-то долго ехали, то поездили, то на подводах. Несколько месяцев жили в каком-то Доме культуры в комнате с табличкой на дверях «Драмкружок». Оттуда их переселили в подвальное помещение при фабрике, где мать получила разрешение работать за копейки. В крошечной комнатенке с одним оконцем, в которое едва попадал свет даже днем, было темно, а зимой холодно, как на улице, но они привыкли радоваться тому ничтожно малому, что у них было.

Весной к ним в школу пришла Нина. Ее отец тоже был сосланным. Василий не знал подробностей, да и не спрашивал, не хотел в душу лезть. Один раз он проводил ее домой. По дороге читали стихи Маяковского и играли в города. Нина знала географию на отлично, а он не очень.

Они подружились, и часто после школы Василий проводил ее домой. Иногда заходили к нему в подвальчик. Нина приносила какую-нибудь снедь, он кипятил чайник на старой керосинке. Про них стали шептаться в школе, но они не обращали внимания на сплетников и продолжали встречаться каждый день. Василий почувствовал себя счастливым в первый раз в жизни. Детство и юность были омрачены арестом и гибелью отца, а потом преждевременной смертью матери.

После смерти матери у него никого не осталось, кроме Нины, и ничего, кроме ее дружбы. Слухи об их отноше-

ниях докатились до Нининой родительницы, но, познакомившись с робким и красивым Потаповым, она перестала досаждать Нине и дружбу их приняла. В глубине души ей не хотелось обижать сироту, да и чувства Василия к ее дочери были искренними. В конце концов она сама была женой репрессированного, ей было известно, какую страшную травму перенес Василий, потеряв родителей в юном возрасте.

Василий по-прежнему жил в материнском подвале, но про него просто забыли, и им с Ниной это было на руку. В стране происходили более важные события: состав фабричного руководства менялся каждый месяц, всех куда-то переводили, увольняли, замещали вновь прибывшими руководителями, а тем было не до подвального помещения.

Здесь они спокойно отсиживались после суеты школьного дня: слушали радио, собранное Василием из проводков и старых пластмассовых блоков, и делали уроки. Василий за это время быстро повзрослел, вытянулся и, как и многие дети репрессированных, стал самостоятельным молодым человеком. Все свободное время он уделял учебе и Нине, надеясь «выйти в люди», как желали бы ушедшие родители. Нина мечтала стать учительницей географии и уделяла этому предмету все внимание. Василий раздобыл несколько старых томов-атласов по географии, и они часам рассматривали проливы, пустыни и экзотические острова. Он тоже решил

стать учителем, но пока еще не знал, по какому предмету. Они даже договорились поступать в один пединститут и по окончании ехать вместе по распределению. Им, молодым, все казалось по плечу. По ночам Василий работал сторожем, куда его пристроила материна подруга. Зарплаты хватало на хлеб и книги. Все шло своим чередом, и они с Ниной считали себя настоящими счастливицами, а потом началась война.

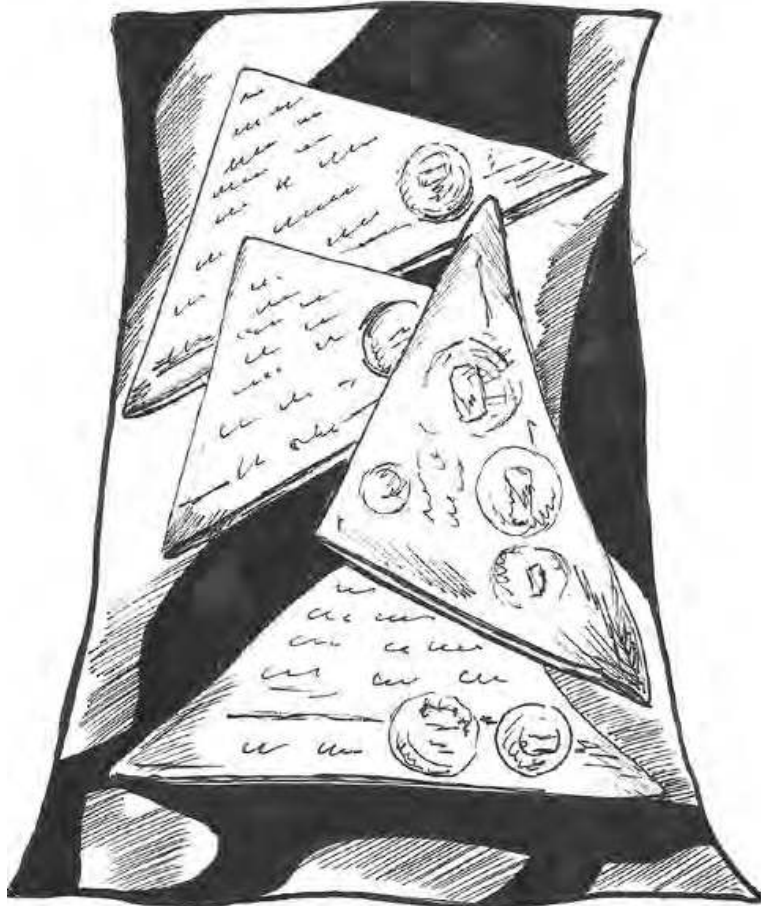
Заскрежетали колеса вагона и прервали его воспоминания. Но поезд не остановился, а просто снизил скорость. Они протащились мимо пустой платформы, где он сразу же заметил одного солдата-инвалида. Он стоял посреди перрона, как одинокое дерево, опираясь на костыли, держа в руке перевернутую вниз пилотку. Эта картина ввергла Василия в еще большую депрессию.

Бабка опять заговорила, но вдруг ясным и громким голосом. Пассажиры уставились на нее с удивлением, но она не обращала внимания и продолжала свою печальную быль. Заорал ребенок, за ним другой, в толпе закашляли, и так и покатило по цепочке: плач детей с перемежающимся кашлем взрослых и стоны больных.

— Окно откройте! — раздался крик.

Молодая женщина в цветном платке поднялась, но потеряла равновесие и опустилась на колени своего спутника. Ребенок на ее руках заплакал еще громче.

— Сама открывай, если надо, — грубо рявкнул



мужик, растянувшийся на грязном полу под окном в коридоре.

— А тебе трудно? Дезертир, наверное, вон какой отъезды! Ты лучше расскажи, где так отъезды? — встрял спутник молодой женщины.

Мужик приподнялся со злым выражением лица. В конце вагона возник солдат с винтовкой через плечо. Рядом с ним стоял кондуктор в старой, железнодорожной фуражке.

— Кончай базар, — негромко сказал он, заподозрив начинающуюся потасовку, но его услышали.

Василий больше не мог переносить бормотания старухи, сидящей к нему ближе всех. Он попробовал подняться и перейти на другое место, но, увидев переполненный людьми вагон и удаляющегося кондуктора, понял, что из этой затеи ничего не получится.

«И где я там на одной ноге стоять буду, костыли некуда поставить, как селетки в бочке, да на полу вповалку», — подумал он. К горлу подступил комок, ему стало до невозможности себя жаль. Он закрыл глаза, притворившись спящим, в надежде, что

бабка скоро закончит нескончаемую тираду.

Поезд мчался мимо разоренных, опустошенных войной поселков и деревень.

На голых полях пестрели сорняки, лопух и крапивница, с перемежающимися кустами куриной слепоты и серого бурьяна, разросшегося по краям заброшенных колхозных полей. Стаи воронья испуганно взлетали от мимо проносящегося поезда и ныряли обратно в голые поля. Василий ничего не узнавал: все сместилось и как будто перешло в другое измерение. Война добралась и сюда, и кругом стелились развороченные дороги с огромными вулканками от вражеских бомбардировок. Их не удалось избежать даже здесь, вдали от индустриального центра.

Они ехали несколько часов, Василий совсем сбился со времени. Он не отрываясь смотрел в окно и вдруг начал припоминать знакомые очертания перелесков и дорог. В какой-то момент ему все-таки удалось выхватить взглядом фабричную трубу, маячившую на горизонте, — гротескный памятник тем, кто ее воздвигнул, и тем, кто хотел стереть ее с лица земли.

«Смотри-ка, выстояла, молодец», — с неожиданной теплотой подумал Василий как будто о живом человеке. Он приближался к родным местам.

«А вот после этого холмика должен дуб стоять», — припомнилось ему. И действительно, они пронесли мимо рощицы, потрепанной налетами, но все-таки эта была та самая рощица на холме,

где они встречались с Ниной.

До поселка его подвезли на разбитом грузовике и даже усадили в кабину. Грузовик вела щуплая тетка, замотанная в платок, возраст ее было сложно установить, Василий перестал к ней присматриваться в надежде опознать кого-то из довоенных знакомых. Она рассказала, что в поселке местных мужиков не осталось, только женщины да пара ветхих стариков.

— Фабрику разбомбили, но школа уцелела, да детей мало. Прислали армейских, они здесь всем и командуют, — поделилась она, — а командовать-то некем!

Она ехидно засмеялась, как бы протестуя против новых партийных авторитетов.

Потапов хотел спросить про Нину Бабешкину, но удержался. Вдруг его осенило.

— А в школе-то учительница есть?

— Да, есть тут одна Нина, — сразу же ответила женщина.

— Вы меня тогда к школе подвезите, — попросил Потапов.

— Тоже учитель? — спросила она, глядя на него с подозрением.

— Учитель, — соврал он.

— Так оно там, может, и закрыто, воскресенье все-таки, — напомнила женщина.

— Все равно, везите, — попросил Потапов.

«Интересно, — думал он, глядя на здание школы, — все в клочки, а школа стоит как ни в чем не бывало. Труба фабричная торчит, школа стоит — жизнь продолжается».

Он бросил рюкзак на землю и облокотился на старую березу, которая росла напротив входа в низкое школьное зданье. Ему стало приятно прикосновение к шершавой, прохладной коре дерева. Они частенько отдыхали здесь с Ниной, прячась под зелеными кронами от летней жары. Зажав костыль под мышкой, он с неожиданным для себя удовольствием втянул свежий запах дерева.

Вдруг в открытой двери школьного здания показался ползущий малыш, закутанный в невероятный наряд: то ли в старый платок, то ли в кофту с завязанными за спиной рукавами. На голове малыша сидела ладная вязаная шапочка с красным помпоном, оттенявшим его огромные голубые глаза.

Малыш дополз до порога, встал на четвереньки и, не без труда, поднялся на ножки, но не удержался и плюхнулся на деревянный пол. Он не заплакал, на его розовом личике выразилось удивление, из открытого рта потекла слюнка. Посидев несколько секунд на полу, он настойчиво попытался встать, но опять не удержался и упал.

— Вася, Вася! Куда уполз! Непоседа какой! — раздался знакомый голос.

В глубине школы возник женский силуэт, и у Потапова больше не оставалось сомнений, что он вернулся домой. Он отстранился от дерева и, поправив костыли, направился к малышу.

— Давай, давай, Василий Васильевич, шагай к папе, шагай... будем вместе учиться ходить.

— Вася! — услышал он
крик. — Вася, родной мой!

Навстречу к нему бежала
Нина, из глаз ее брызнули сле-
зы, она бросилась
на него с поцелуями.

— Вернулся, как и обе-
щал, — тихо сказал он.

Нина подхватила на руки
сына и протянула его Потапо-
ву. Ошарашенный от счастья
солдат, опираясь одной рукой

на костыль, другой заклю-
чил в объятия свою долгождан-
ную семью.

Канада

